

Николай Переслѣгинъ

(Романъ)

Продолженіе *)

Москва, 10 сентября 1913.

Вѣдь вотъ, словно предчувствовало сердце! Недаромъ умолялъ я Тебя, Наталенька, слѣдить за отцомъ.

37,8! — температура конечно небольшая, а все-же тревожно. Какъ знать — вдругъ что въ легкихъ, тогда трудно будетъ старику. Сердце хоть и здоровое, а все-же какъ ни какъ поношенное.

Что Ты послала за Алексѣемъ Ивановичемъ — хорошо. Отецъ его очень любить, и онъ одинъ изъ немногихъ людей прекрасно дѣйствующихъ на его настроеніе. Вѣдь уже двадцать лѣтъ они вмѣстѣ охотятся и ругаютъ медицину; но врачъ онъ ужъ очень незатѣйливый: кромѣ коньяка и банокъ рѣшительно ничего не прописываетъ.

Что бы онъ ни «нашелъ» надо будетъ непременно послать въ Калугу за Скопинымъ. Такъ какъ отецъ боится врачей больше болѣзней, то онъ будетъ раздраженно протестовать. Но Ты будь энергична, родная. Лучше всего заключи союзъ съ самимъ Алексѣемъ Ивановичемъ. Онъ человекъ умный и своихъ медицинскихъ познаній не переоцѣниваетъ. Скопину очень кланяйся отъ меня и обязательно попроси его, если-бы у отца оказалось что-либо затяжное, прислать Тебѣ опытную сестру.

Одна Ты сразу же выбьешься изъ силъ: — отецъ пациентъ очень нелегкій. Я до Твоего слѣдующаго письма рѣшать ничего не буду. Если Скопинъ найдетъ положеніе

*) См. «Соврем. Записки», №№ 14, 15, 17, 18 и 20.

серьезнымъ, я конечно немедленно вернусь. если-же нѣтъ, то можеть быть и послушаюсь Тебя — поѣду пока что въ Петербургъ одинъ, въ надеждѣ, что Ты скоро ко мнѣ подѣдешь.

Не могу Тебѣ сказать, дорогая, до чего все это волнуетъ меня, и, грѣшный человѣкъ, сильнѣе всего кипитъ досада на разстройство нашихъ съ Тобою плановъ.

Въ Петербургъ я написалъ. На дняхъ жду отвѣта отъ профессора Нагибина. Москва съ каждымъ днемъ все больше оживаетъ. Ваши тоже скоро возвращаются изъ Корчагина. Константинъ Васильевичъ вернулся въ городъ очень отдохнувшимъ и оживленнымъ. Мечтаетъ какъ можно скорѣе продать московское дѣло и навсегда поселиться въ имѣннн. Живемъ мы съ нимъ очень складно. Последннн дни я вечерами сижу дома, и мы увлекаемся шахматами. Онъ играетъ много лучше меня, и это его очевидно радуеть.

Прости, родная, за эту коротенькую записочку, какъ-то не пишется больше. Надѣюсь, что у Васъ все благополучно. Буду съ нетерпѣннемъ ждать Твоего письма. Христось съ Тобою, дорогая, нѣжно цѣлую Тебя.

Твой Николай.

Москва, 12 сентября 1913.

Сегодня утромъ получилъ Твою успокоительную телеграмму, Наталенька. За эти два дня такъ намучился представленнмъ всякихъ ужасовъ, что почти обрадовался узнавъ, что Скопинъ нашелъ очень небольшое восмаленн въ легкомъ и думаетъ, что при тщательномъ уходѣ никакой опасности, пока не грозитъ. Такъ какъ при отцѣ Ты. а завтра еще прѣзжаетъ и сестра милосерднн, — то идеальный уходъ, (въ особенности, если Скопинъ сможетъ черезъ день прѣзжать) — обезпеченъ. Я бы своимъ присутствнмъ его во всякомъ случаѣ не улучшилъ.

Думаю потому, что мнѣ дѣйствительно не слѣдуетъ

прерывать уже налаженныхъ занятій, тѣмъ болѣе, что я вчера получилъ очень благопріятный отвѣтъ отъ Нагибина. Онъ пишетъ, что моя работа ему показалась интересной, и на основаніи ея я могу быть сейчасъ-же допущенъ къ магистерскому экзамену. Между прочимъ онъ очень совѣтуетъ не затягивать дѣла и сдавать по возможности скорѣе, такъ, чтобы покончить со всѣмъ еще до Рождества.

Вѣдь если все будетъ благополучно, то недѣли черезъ двѣ Ты во всякомъ случаѣ сможешь оставить отца на попеченіе сестры и пріѣхать ко мнѣ. Если-же, не Дай Богъ, дѣла накренятся въ дуриую сторону, то все бросить — дѣло одной минуты.

Конечно, собираясь въ Москву, мы съ Тобой представляли себѣ все совершенно иначе, но что-же дѣлать — очевидно ничего другого не остается, какъ покориться.

Ты очень права, родная: — никогда не надо преждевременно открывать ворота бѣдѣ; въ открытыя она непремѣнно завернется, а въ закрытыя — можетъ быть и не заглянетъ. Эту Твою старую вѣру я хорошо въ Тебѣ знаю, Наташа; недаромъ въ свое время я такъ упорно боролся противъ Твоего нежеланія сдѣлать хотя-бы одинъ рѣшительный шагъ навстрѣчу надвигавшемуся на Тебя разрыву съ Алешей. Тутъ есть въ Тебѣ какое-то странное суевѣріе, въ которомъ очень мало «всуе» и очень много настоящей «вѣры», нѣчто мнѣ совсѣмъ непонятное, и все-же черезъ Тебя какъ-то дѣйствующее и на меня. Какъ это ни странно, но отложить экзаменъ и вернуться въ Касатинъ мнѣ послѣ Твоего письма было-бы почти страшно: — во мнѣ уже вполне реальна Твоя фантастическая боязнь, какъ бы намъ своими услужливыми приготовлениями къ бѣдѣ не накликалъ ея на свою голову.

Ну не страшная ли вещь любовь, Наташа?

Очень мнѣ важно, какое впечатлѣніе произвело на Тебя Алешино посланіе, и будешь-ли Ты отвѣчать на него. Надѣюсь, что не сегодня, завтра получу отъ Тебя письмо.

Богъ дастъ у Васъ за послѣднія сутки ничего не ухудшилось.

Константинъ Васильевичъ съ утра очень взволнованъ: ждетъ прїѣзда Лидіи Сергѣевны и Маруси. Черезъ полчаса мы съ нимъ ѣдемъ встрѣчать ихъ на вокзалъ. Могу себѣ представить, какъ Лидія Сергѣевна будетъ опечалена нашими дѣлами. Она вѣдь ѣдетъ съ надеждой, что Ты уже въ Москвѣ.

И за что это судьба такъ немилостива къ Тебѣ, бѣдная моя Наталенька? Ну Богъ дастъ все образуется, милая. Цѣлую.

Твой Николай.

Москва, 14-го сентября 1913 г.

Здравствуй Наталенька. Цѣлую Твои милыя рученьки и спѣшу отвѣтить на Твое письмо, которое пришло сегодня утромъ.

Счастливъ, что у Васъ все, слава Богу, благополучно и страдаю, что Ты такъ безповоротно рѣшила остаться съ отцомъ въ Касатыни, а меня отправить одного въ Петербургъ.

Ты спрашивашь, «одобряю» ли я Твое письмо къ Алексѣю. Нѣтъ, родная, — одобряю, совсѣмъ не то слово. По моему душевиѣе и окончательнѣе того, что Ты написала на трехъ маленькиихъ страничкахъ, вообще ничего нельзя было сказать.

Что Ты ни однимъ словомъ не защищаешь меня, только правильно. Увѣренъ, что Алеша ясно почувствуетъ, что Ты не оспариваешь его только потому, что споръ съ нимъ на тему моей низости для Тебя нравственно недопустимъ. Не о всемъ же, въ самомъ дѣлѣ, можно спорить. Алешино чувство впрочемъ будетъ конечно глуше этихъ моихъ, слишкомъ заостренныхъ словъ. Вѣдь Твое письмо такъ мягко, такъ совсѣмъ безъ всякой принципиальности отклоняетъ всякій принципиально-нрав-

ственный разговоръ о мнѣ. По всему его тону совершенно ясно, что для Тебя злые Алешины выпады — только его боль и его страданіе, но не его вина.

Замѣчательный Ты человекъ, Наташа, и самое въ Тебѣ (до полной для меня непонятности) замѣчательное это то, что ни одно Твое чувство не оборачивается въ Тебѣ на Тебя-же. Я вполнѣ понимаю, что можно жить не для себя: — думаю, что мало кто для себя и живетъ. Но какъ можно жить не только не для себя, но и не вокругъ себя, это для меня загадка. Если люди и не такъ эгоистичны, какъ они кажутся, то эгоцентричны они все же всё. Кромѣ Тебя, по совѣсти, не знаю ни одной женщины, которая, говоря съ человекомъ, страдающимъ по ней, объ его страданіи, могла-бы не испытывать при этомъ ни малѣйшаго удовлетворенія. Почти во всѣхъ современныхъ женщинахъ есть какой то въ нравственномъ отношеніи весьма неблагополучный звукъ жадности и жестокости. Почти всѣ онѣ, какъ впрочемъ и современные мужчины, отравлены ядомъ Ницше и Стриндберга; почти для всѣхъ нихъ любовь не только притяженіе въ любви, но и отталкиваніе въ борьбѣ. Уходя изъ подъ власти угасающаго въ нихъ чувства, всѣ они всегда сдѣлаютъ все, чтобы сохранить свою власть надъ тѣми, кого нѣкогда любили. Какую цѣною — имъ все равно; хотя-бы и цѣною сознательнаго возбужденія къ себѣ ненависти.

Въ Твоемъ письмѣ на всѣ эти чувства нѣтъ ни намека. Я сказалъ-бы, что оно безкорыстно и благородно до оскорбительности. Ни одного волнующаго, гнѣвнаго слова, ни одного тревожащаго отзвука бывшей, ни одного скорбнаго звука мертвой любви. Одна только озабоченность — какъ бы помочь, вернуть человека себѣ самому, освободить отъ себя. Весь тонъ письма таковъ, словно оно написано не Тобою, не тою Наташей, которая нѣкогда любила Алексѣя, а ея старшей, недавно схоронившей Наташу сестрой; во всемъ такая ясность, прозрачность и успокоенность. Не думаю, чтобы послѣ Твоего письма

у Алексѣя осталась надежда на «завтрашній день», надежда на то, что Ты «разглядишь меня» и... вернешься къ нему.

Твои, исполненные по отношенію къ нему большой любви и благодарной памяти, слова прежде всего все же звучатъ словами женщины, навѣки обреченной своей судьбѣ: — себя потерявшей, себя нашедшей и надъ собою безвластной.

Я безконечно счастливъ Твоимъ письмомъ, родная. У меня словно камень съ сердца. И въ сердцѣ новая надежда, что наконецъ то Алеша пойметъ, что все случившееся съ нимъ не моя «махивація», а наша судьба. И какъ это мы съ Тобою раньше не додумались, что надо было сразу-же не мнѣ писать Алексѣю, а Тебѣ. Хотя... какъ знать, быть можетъ это и не вѣрно. Быть можетъ годъ тому назадъ одинъ видъ Твоего письма, самое начертаніе Твоего тихаго, милаго имени могли бы окончательно нарушить душевное равновѣсіе Алеша. Сейчасъ этого, слава Богу, бояться уже не приходится. Твоя мысль, что Алешино письмо ко мнѣ является лучшимъ доказательствомъ того, что онъ оправляется и внутренне уже окрѣпъ, меня очень обрадовала. Самъ я этого какъ-то не понималъ, не почувствовалъ, но послѣ Твоего письма, мнѣ сразу-же стало очевиднымъ, что Ты глубоко права.

Въ тяжелыя минуты душевнаго упадка и отчаянія Алексѣй вѣдь всегда молчалъ, молчалъ днями, недѣлями..., ходя изъ угла въ уголокъ и куря папиросу за папиросой. Письмо же его — блестящая прокурорская рѣчь, произнесенная, правда, въ отвѣтъ на мое письмо, но внутренне найденная очевидно много раньше. Въ ней есть точность, блескъ, ритмъ, т. е. творчество, т. е. жизнь.

Терапевтически было потому съ моей стороны большой психологической ошибкой какъ Клементьевское письмо, такъ и все мое упорное стремленіе, не считаясь съ нуждой Алешинной жизни, навязывать ему свою правду. Но конечно, какъ Ты и пишешь, моего большого вопроса: — не глубже-

ли (метафизически) Алешино непониманіе меня, моего требованія, чтобы онъ меня понялъ, — всё эти раздумья никакъ не касаются, потому что не то, въ послѣднемъ счетѣ, важно — имѣеть-ли Алексѣй право своимъ инстинктивнымъ нежеланіемъ понять меня пользоваться, какъ выздоравливающей діетой, а то — иѣрно-ли, что вопросъ истины есть вопросъ крови, а не сознанія. Осложняется для меня это Алешино утвержденіе еще и тѣмъ, что я всегда сознательно защищалъ почти все, что Алексѣй сейчасъ утверждаетъ, въ сущности вопреки всѣмъ своимъ убѣжденіямъ. Не Алексѣй, а я всегда ставилъ «священное» выше «гуманнаго» — даръ выше долга; не Алексѣй, а я всегда отстаивалъ не только право, но и долгъ кровью защищать свою любовь. Въ извѣстномъ смыслѣ его письмо большой шагъ навстрѣчу моему міроощущенію и міросозерцанію. Было время, когда онъ уступалъ Тебя *безъ боя*, а я сознательно шелъ *на все*, и не ему, потому, упрекать меня въ томъ, что я боролся за Тебя одними силлогизмами. И все-же во мнѣ все совершенно иначе, чѣмъ въ немъ. Я всегда считалъ своимъ долгомъ кровью и жизнью защищать *правду*. Алеша въ своемъ письмѣ *свою кровь* считаетъ правдой, и потому для *правды*, въ его мірѣ мѣста, въ сущности, не остается.

Что теоретически вся правда на моей сторонѣ — я вѣрю и сейчасъ. Въ этомъ смыслѣ Алешино письмо меня отнюдь не поколебало. Но жестокою мою самоувѣренность оно какъ-то смягчило.

И сейчасъ во мнѣ волнуется первое впечатлѣніе отъ Алешинаго письма: — а что если и дѣйствительно нѣтъ никакой внѣ насъ стоящей правды, за которую мы проливаемъ кровь, ради которой страдаемъ, во имя которой умираемъ, а есть только правда нашего человѣческаго страданія, нашей бѣдной крови, нашей одинокой смерти? Не утѣшенный никакою вѣрою въ правду, Алеша долженъ страдать конечно гораздо глубже меня. Въ этой глубинѣ его страданья мнѣ и почувствовалась, когда схлынула

первая обида, та его болѣе глубокая правда, въ которую я по настоящему, вѣроятно, не повѣрилъ, но о которой все-же захотѣлось сказать Тебѣ.

Я знаю, дорогая, что Ты вѣчно мое философствованіе («вертячку» постоянного осознанія всего въ себѣ и вокругъ себя) считаешь гораздо менѣе существеннымъ и характернымъ, чѣмъ это кажется всѣмъ другимъ и мнѣ самому. Для Тебя я не столько человѣкъ, съ чужими себѣ самому глазами, какъ я писалъ Тебѣ когда-то, сколько человѣкъ съ чужими себѣ самому мыслями; скорѣе всего ребенокъ, играющій съ огнемъ и не знающій съ чѣмъ онъ играетъ. Тѣмъ болѣе благодаренъ я Тебѣ, родная, что изъ моей приписки къ Алешиному письму Ты сразу же поняла, что на этотъ разъ моя проблематика «нравственнаго долга грѣха» и «метафизическаго долга непониманія», совсѣмъ не философствованіе, а боль и «кровь». За Твои вдумчивыя и вѣжныя слова оправданія нѣжно и горячо цѣлую Твои милыя руки. Чѣмъ больше я думаю объ Алешиномъ письмѣ, тѣмъ больше мнѣ начинаетъ казаться, что злая его карриатура исполнена все-же большого сходства.

О всемъ этомъ мнѣ очень нужно съ Тобою поговорить. Хочется также и самому убѣдиться, (Ты прости это) какъ у Васъ обстоятъ дѣла: не очень-ли выматываетъ Тебя уходъ за отцомъ. Потому я предлагаю вотъ что: — въ Петербургъ я поѣду; соберу всѣ силы, запрусь и буду сдавать экзамены. Но передъ тѣмъ какъ запрячусь, я все-же денька на два слетаю къ Вамъ въ Касатынь.

Выѣду я послѣ завтра утромъ въ 10 ч. 30 м. Вышли маленькій тарантасъ тройкой — чтобы поскорѣе доѣхать.

Три часа тому назадъ, сядя за письмо, я совсѣмъ не зналъ, что поѣду. Если бы зналъ, можетъ быть и не сталь-бы такъ подробно о всемъ писать... Хотя... скорѣе всего, все-таки, сталь бы.

Ну, до свиданья, дорогая. Очень радуюсь, что увидимся. Лидія Сергѣевна, Константинъ Васильевичъ и всѣ обни-

мають и цѣлуютъ Тебя. О моемъ планѣ я скажу только въ послѣднюю минуту, а можетъ быть уѣду и не сказавъ. Боюсь какъ бы Лидія Сергѣевна не вздумала проѣхать со мною. Ей страшно хочется посмотрѣть, какъ мы живемъ. Одной ей не вырваться: никогда, никуда одна не ѣздила, да и, какъ сама говоритъ, «тяжела на подъемъ». А со мной, думаю, съѣздила бы дня на два, на три съ большимъ удовольствіемъ.

Прости, милая, эту военную хитрость. Увѣренъ, впрочемъ, что Тебѣ самой будетъ пріятнѣе, если пріѣду одинъ. Цѣлую Тебя.

Весь Твой Николай.

Петербургъ, 26 го сентября 1913 г.

Причинъ, какъ будто-бы, никакихъ, а мнѣ грустно и тревожно. Наташа. Словно разстались мы съ Тобою не на двѣ, три недѣли, а на очень, очень долго. Право, никогда я не думалъ, что несмотря на всѣ мои, какъ Ты говоришь «еретическія» теоріи, изъ меня выйдетъ такой примѣрный мужъ.

Въ утрѣ моего отъѣзда изъ Касатыни было, Наташа, что-то... что то пронзительное, что то очень, очень печальное...

Двойной свѣтъ за чаймъ: — зеленой лампы и въ туманѣ восходящаго солнца; бѣлая косынка и красный крестъ сестры; Ты — похудѣвшая, блѣдная, грустная, въ темномъ платьѣ и дорожной шляпѣ; слишкомъ рано поданныя лошади; за окномъ мающіеся въ вѣтрѣ гибкіе хлысты акацій; исхлестанныя дождемъ настурціи надъ рябью мутныхъ лужъ; заунывный вой Щекотовской фабричной сирены — все это случайное и невнятное какъ-то осилило во мнѣ въ послѣднюю минуту то бодрое настроеніе, въ которомъ я еще наканунѣ считалъ, что самое позднее, недѣли черезъ двѣ, три мы съ Тобою встрѣтимся въ Петербургѣ...

У семафора передъ сторожкой, высунувшись въ послѣдній разъ въ окно, я увидѣлъ внизу на шоссе сѣрый силуэтъ Твоей коляски съ поднятымъ верхомъ — маленький, жалкій комочекъ подъ унылымъ дождемъ... Сердце сжалось, паровозъ взревѣлъ и все пропало...

Калуга:—мама, ея пѣніе, наши поѣздки, моя ревность, все это печальными, приливными волнами снова набѣжало на душу съ далекаго, туманнаго горизонта жизни.

Если вѣрно, Наталенька, что къ старости воспоминанья только крѣпнуть, то мнѣ своихъ воспоминаній къ старости не вынести. Очень ужъ рано я началъ жить своимъ прошлымъ.

У Твоихъ на Тверской я пробылъ всего только нѣсколько часовъ: — успокоилъ Лидію Сергѣевну, проигралъ партію Константину Васильевичу и дружественно поговорилъ съ Марусей, которая по пріѣздѣ изъ Корчагина видѣлась съ Алешей и собирается на-дняхъ въ Касатынь. Сама она думаетъ, что хочетъ помочь Тебѣ; по моему-же она главнымъ образомъ ѣдетъ въ надеждѣ поговорить съ Тобою по душамъ. Ее очень тревожитъ вопросъ: — «кто же правъ и въ чемъ правда». Милый она человекъ, горячій. За два года она, какъ я уже писалъ Тебѣ, очень созрѣла. Думаю Ты съ радостью проведешь съ нею недѣлю. Я во всякомъ случаѣ ее не отговаривалъ.

Петербургъ, въ который я пріѣхалъ раннимъ утромъ, встрѣтилъ меня по петербургски: мелкимъ дождемъ, желтоватымъ туманомъ, ржавыми въ туманѣ массивами екатериненскихъ зданій. Но теперь вотъ ужъ третій день стоитъ прекрасная погода. Вчера, какъ иностранецъ, весь день ходилъ по улицамъ. Какой великолѣпный, блестятельный и, несмотря на свою единственную въ мірѣ юность, какой *вѣчный* городъ. Такой-же вѣчный какъ и древній Римъ. И какъ негѣпа мысль, что Петербургъ въ сущности не Россія, а Европа. Мнѣ кажется, что по крайней мѣрѣ такъ же правильно и обратное утвержденіе, что Петербургъ болѣе русскій городъ, чѣмъ Москва.

Во Франціи нѣтъ анти-Франціи; въ Италиі анти-Италіи; въ Англіи — анти-Англіи. Только въ Россіи есть своя русская анти-Россія: — Петербургъ. Въ этомъ смыслѣ онъ самый характерный, самый русскій городъ.

Первые славянофилы были, конечно, очень русскими людьми, но ихъ отношеніе къ Россіи было совсѣмъ не типично-русскимъ. Любовь къ своему народу, утвержденіе, что онъ лучшій и высшій, избранный и призванный — каканъ изъ европейскихъ націй не переживала и не утверждала того-же? Совсѣмъ иначе западники. Европейцы по своимъ вѣрованіямъ и ученіямъ, они въ своемъ отношеніи къ Россіи гораздо оригинальнѣе славянофиловъ. Въ своемъ патріотизмѣ они не повторяютъ Европы, а создаютъ совершенно новую характерно-русскую форму *патріотическаго* чувства. Изъ европейцевъ никто, любя свою страну, никогда не мечталъ, чтобы она стала Россіей. Нѣтъ, наши «западники» люди совсѣмъ другой психологіи, чѣмъ люди Запада.

Москва для европейца всегда будетъ понятнѣе чѣмъ, Петербургъ, хотя-бы уже по одному тому, что всякій европеецъ всегда будетъ утверждать, что Москва — это непонятная Азія, а Петербургъ почти Парижъ или Берлинъ. Но что говорить объ европейцахъ, когда такія-же мысли слышишь часто отъ нашихъ исконныхъ москвичей, не чувствующихъ въ Петровомъ велѣніи перебросить столицу за предѣлы Россіи, фантастической мечты ея самой взвиться надъ временемъ, взлетѣть надъ своею судьбою, надъ своею отъединенностью, т. е. всего того, что съ такою силою прозвучало впослѣдствіи въ знаменитыхъ и только въ устахъ русскаго націонализма возможныхъ словахъ о Западѣ, какъ о странѣ святыхъ чудесъ.

Нѣтъ, Петербургъ замѣчательный городъ. И несмотря на мое пристрастіе къ Москвѣ, я еще не знаю, гдѣ охотнѣе поселился-бы — въ Москвѣ или въ немъ. Хотя самое лучшее вообще не жить въ городѣ. Въ городахъ пріятно

бывать, но пребывать корнями своей жизни и души человѣку (мнѣ по крайней мѣрѣ), необходимо въ деревнѣ...

Сегодня утромъ былъ у профессора Нагибина, котораго раньше лично не зналъ. Разговоръ былъ не очень продолжителенъ, но очень пріятенъ. Мнѣ думается, что дѣло быстро наладится. Черезъ нѣсколько дней на ближайшемъ засѣданіи факультета окончательно разрѣшится вопросъ о допущеніи меня къ сдачѣ магистерскаго, а недѣлю черезъ двѣ будетъ назначенъ первый экзаменъ. Всего ихъ что-то около двадцати. Зачѣмъ такое количество, я совершенно не понимаю. Въ концѣ концовъ существенно вѣдь только знать, что человѣкъ дѣйствительно знаетъ. Прощупывать же то, чѣмъ онъ не интересовался и чего по настоящему не знаетъ — занятіе, съ научной точки зрѣнія, по моему совершенно праздное. Однако имъ все-же, кажется, у насъ занимаются не только въ средней школѣ, но и въ университетѣ.

Я многое хотѣлъ еще Тебѣ написать, Наталенька, мнѣ грустно отрываться отъ письма, но писать больше невозможно. Надо устраиваться и приступать къ занятіямъ, для чего прежде всего необходимо найти двѣ пріятныя комнаты на какой-нибудь тихой улицѣ. Здѣсь, въ громадной гостинницѣ атмосфера крайне несимпатичная и не располагающая къ умозрѣнію. Хочу посмотрѣть частныя комнаты, но думаю, что переѣду въ какую-нибудь старомодную маленькую гостинницу.

Самое важное для меня (Ты вѣдь знаешь) это то, что за окномъ. Не переносу «видовъ» и не переносу стѣнъ. Люблю чтобы было что-нибудь незамѣтно и пріятное — дворикъ, ограда, дерево, церковь... Въ Москвѣ такихъ «законостай» много, а въ Петербургѣ — не знаю, хотя думаю, тоже конечно найдутся.

Итакъ досвиданья, дорогая. Буду искать намъ пріютъ. Увѣренъ, что подвернется что-нибудь такое особенное, что сразу-же приглянется Твоей душѣ. Несмотря на тре-

воюющую грусть первыхъ петербургскихъ дней, стараюсь твердо вѣрить въ наше скорое свиданіе. Дай Тебѣ Богъ справиться со всѣмъ. Милая, пиши, хотя-бы совсѣмъ коротко, но какъ можно чаще. Буду очень беспокоиться объ отцѣ и о Тебѣ.

Цѣлую Тебя, мое счастье. Береги себя.

Твой Николай.

Петербургъ, 30-го сентября 1913 г.

Спасибо, милая, за телеграмму. Какое счастье, что у Васъ все благополучно. Съ нетерпѣніемъ жду обѣщаннаго письма.

Мои поиски, пока что, успѣхомъ не увѣнчались. Комнаты въ частныхъ квартирахъ — ужасны: — или по студенчески убоги или безвкусны, какъ пріемныя зубныхъ врачей; меблированныя — унылы и грязны. Скорѣе всего поселюсь въ Англійской гостинницѣ, которую мнѣ очень рекомендоваль пріятель отца, Демидовскій. Ты врядъ-ли его помнишь, онъ мелькомъ заѣзжалъ въ Касатынь вскорѣ послѣ нашего пріѣзда съ Кавказа.

Встрѣтились мы съ нимъ совершенно случайно и даже нѣсколько странно. Въ мрачномъ настроеніи и тревожныхъ мысляхъ о Васѣ, я нетерпѣливо обгонялъ на Садовой какую-то весьма торжественную похоронную процессію; вдругъ слышу меня кто-то весело зоветь по имени. Не успѣлъ я понять, въ чемъ собственно дѣло, какъ изъ траурной толпы жизнерадостно отдѣлилась массивная фигура голубоглазаго, серебробородаго старика; схватила меня подруку, нырнула со мной обратно въ толпу, представила мнѣ какихъ-то двухъ эlegantныхъ юношей, начала спрашивать объ отцѣ, о причинѣ моего пріѣзда въ Петербургъ, рассказывая въ свою очередь о бѣгахъ и всякихъ иныхъ, мало подходящихъ къ обстановкѣ вещахъ. Одновременно представленные мнѣ юноши занимали у насъ за спиною весьма свѣтскимъ раз-

говоромъ весьма свѣтскую даму. Правда мы шли въ самомъ концѣ очень большой толпы, среди людей, изъ которыхъ вѣроятно мало кто дѣйствительно зналъ покойнаго, но все-же меня остро и больно поразила та подлая, безбожная, суетливая живучесть, что провожала утопавшій на торжественномъ катафалкѣ въ морѣ цвѣтовъ и вѣнковъ гробъ съ останками перегорѣвшей жизни. Въ элегантныхъ траурныхъ туалетахъ, тугихъ военныхъ мундирахъ, подушкахъ съ орденами, сле ползущихъ автомобиляхъ съ глубоко завалившимися въ нихъ шофферами — слышались сердцу оскорбительно наглые зовы жизни, тщетно старающіеся перекричать ревущее молчаніе смерти, молчаніе закрытыхъ глазъ подъ привинченной крышкой гроба.

Въ послѣднемъ письмѣ я писалъ Тебѣ, родная, что не хотѣлъ-бы жить въ городѣ. Вчера, на похоронахъ неизвѣстнаго мнѣ статскаго совѣтника Александра Алексѣевича Фіалковскаго, я кажется въ первый разъ до конца понималъ, что городъ тѣмъ и страшенъ, что онъ боится смерти и дѣлаетъ все возможное, чтобы не взглянуть ей въ глаза. Перворазрядная похоронная процессія на шумныхъ, дѣловыхъ, кипящихъ жизнью улицахъ большого современнаго города, столь лояная и постыдная вещь, что мнѣ право кажется только послѣдовательнымъ, что во многихъ европейскихъ городахъ она давно уже не тревожитъ безмятежнаго легкомыслія современности; тамъ покойниковъ глухо, подвечеръ, увозятъ въ часовни за кладбищенскія ограды, внутри которыхъ небольшія процессіи между напертью и могилой никого зря не волнуютъ, ни у кого не отнимаютъ необходимой въ современности желѣзной энергіи.

Какъ все-же все иначе и глубже въ деревнѣ! Какъ бы печальны и тяжелы не были деревенскія похороны, они всегда правдивы и благообразны. Съ дѣтства помню: — ровно ударяетъ Касатынская колокольня и медленно приближаются къ ней: темная иконка, тесовая, гробовая

крышка, колышайся на плечахъ прикрытый покровомъ гробъ. Молча идутъ мужики, голосисто причитають бабы, нестройно тянутъ нѣсколько сильныхъ голосовъ «вѣчную память»...

Въ чистое лицо новопреставленнаго своего раба спокойно смотритъ небо, и никакой шумъ праздной, самоувѣренной жизни не тревожитъ послѣдняго пути.

Природа, лица, гробъ, одежда, рогожа на телѣгѣ, лошадевка — все скудно и сурово, во всемъ насущная, едва справляющаяся съ жизнью нужда, стоящая подъ знакомъ смерти жизнь: — убогая и божья.

Не думаю, чтобы въ Европѣ нашлось бы другое мѣсто и нашлась-бы другая среда, въ которыхъ жизнь и смерть такъ просто и глубоко ощущались бы единымъ бытіемъ, какъ въ нашей русской деревнѣ.

До чего позоренъ и кощунствененъ въ городахъ неизбѣжный переходъ отъ смерти къ жизни, къ неотложнымъ, житейскимъ дѣламъ: — банку, казармѣ, театру, и какъ просто крестьянину на слѣдующее-же утро постѣ похоронъ тою-же лопатой, которой онъ вчера закапывалъ отца, перекрестясь начать копать насущную картошку.

Есть въ природѣ и деревнѣ какая-то большая правда, въ сидѣннѣ и работѣ на землѣ какой-то единственный онтологизмъ. Сравни первыхъ славянофиловъ съ Владиміромъ Соловьевымъ или Достоевскимъ и Ты сразу-же поймешь меня. Славянофильское православіе крѣпче Соловьевскаго и славянофильскій патріотизмъ правѣ патріотизма Достоевскаго. А почему? Конечно только потому, что славянофилы помѣщики, домохозяева, землеробы, и во всѣхъ этихъ качествахъ въ какомъ-то особомъ смыслѣ, несмотря на свое христіанство — язычники. Соловьевъ же и Достоевскій — интеллигенты, странники, писатели, совершенно лишены чувства земли, не чувства своего народа и не мистическаго чувства плоти, а чувства той ветхозавѣтной земли, изъ праха которой мы

созданы и въ прахъ которой прахомъ-же возвращаемся. Я очень люблю нашихъ славянофиловъ, но конечно не какъ философовъ и учениковъ немѣцкаго идеализма, но какъ православныхъ язчниковъ. Люблю ихъ благоуханный, языческій патриотизмъ, инстинктивный націонализмъ ихъ религіозности, ихъ органическое народничество и бытовую, барски-мужицкую прочность, все то, чего такъ окончательно не хватаетъ современному поколѣнію нашей интеллигенціи.

Изъ всѣхъ Твоихъ качествъ, Наталенька, я быть можетъ ничѣмъ инымъ такъ постоянно не люблюсь, какъ инстинктивной увѣренностью и пластической отчетливостью Твоего мірочувствія. Ты какъ-то поразительно счастливо избѣгла участи всей русской интеллигенціи — одухотворенія до безбытничества. Причемъ Твой бытовизмъ не только соціальный, но и глубже, — пластическій. Ты любишь и чувствуешь глубину и рельефъ жизни не только какъ правнучка и внучка сельскихъ священниковъ, но и какъ настоящій художникъ. Отсюда Твоя вѣрность землѣ и радость о всякой Твари, Твоя вѣра въ загробную жизнь и безстрашіе передъ смертнымъ часомъ, древность Твоего церковнаго поклона и окаменѣлость Твоего лица за роялю, напоминающее истуканье выраженіе пляшущихъ дѣвокъ, Твоя дѣловитость, зоркость и распорядительность — однимъ словомъ все Твое неопишемое очарованіе.

Пріѣхавъ въ Касатынь, я поразился, какъ у Тебя все было уже крѣпко поставлено, какъ въ двѣ недѣли отцовской болѣзни и моего отсутствія Ты сѣумѣла, никого не обидѣвъ, превратиться изъ любимой гостыи нашего дома въ его полноправную хозяйку.

Ни на іоту не измѣнивъ тона ни съ отцомъ ни съ управляющимъ ни съ прислугой, никому ничего не приказывая, а всѣхъ только прося, Ты все же изумительно сѣумѣла въ нагрѣнушіе тягостные дни все внутренне сосредоточить на себѣ, стать главной силою Касатынской

жизни. Такъ медленно, дремно и привольно течеть широкая рѣка; но достаточно поставить ей препятствіе, запрудить ее, чтобы праздная ея красота сейчасъ-же превратилась въ полезную силу. Смотри какъ Ты смѣняла компрессы отцу, слушая, какъ обсуждала съ управляющимъ нарядъ рабочихъ и отправляла Марфушу въ Калугу, я съ радостью ощущалъ, до чего надежны руки, которымъ вѣрена моя жизнь. Могу себѣ представить какую силою возстанетъ на меня Твоя красота, если Тебѣ когда нибудь придется спасать уже не отца отъ воспаленія легкихъ, а мое сердце отъ воспаленія мечты.

Ну, родная, кажется время кончать письмо. Началъ его писать въ грустяхъ, а дописался до крайне игриваго настроенія. Ты ужъ прости меня; — но право-же ухаживать за собственной женой, одна изъ величайшихъ радостей любви. Надѣюсь, что у Васъ все не только по прежнему благополучно, но и лучше, чѣмъ было третьяго дня.

Цѣлую Тебя, мое очарованіе. Съ петербургскимъ яду вѣстей отъ Тебя.

Весь Твой Николай.

P. S. У Марины еще не былъ. Какъ только устроюсь, напишу ей, какъ-бы намъ съ ней повидаться. Пока все время въ хлопотахъ, а она живетъ гдѣ-то очень далеко. Ну еще разъ цѣлую, люблю, до свиданья.

Петербургъ, 2-го октября 1913 г.

Вчера подъ вечеръ переѣхалъ; комнаты очень уютны и законность тиха и пріятна. Сегодня утромъ мнѣ привезли изъ Сѣверной Твое письмо. Температура почти нормальна, осложненій пока никакихъ. Маруся у Тебя и Тебѣ съ ней хорошо, — большого желать невозможно.

Что сердце нѣсколько слабо, — естественно. Надѣюсь, что Скопинъ со всѣмъ справится и дѣло быстро пойдетъ на выздоровленіе. Боже, какъ хочется привезти мою милую, съ дороги блѣдную, усталую, радостно взволнованную съ мозглаго Николаевского вокзала въ тихія, теплыя комнаты; усадить, уложить, окружить заботой и уходомъ, чтобы отдыхала она душою и тѣломъ.

Здѣшнія мои дѣла такъ же хороши, какъ Твои Касатынскія. Къ магистерскому я допущенъ и сроки экзаменовъ уже назначены. Я постарался устроиться такъ, чтобы не быть слишкомъ занятымъ, чтобы всегда имѣть возможность пойти съ Наталенькой въ Эрмитажъ, въ театръ, въ концертъ, чтобы въ первую очередь остаться вѣрнымъ рыцаремъ дамы своего сердца и лишь во вторую стать смиреннымъ инокомъ трансцендентальнаго монастыря!

Первый экзаменъ у меня 6-го, послѣдній въ началѣ декабря. Надѣюсь мы проживемъ съ Тобою здѣсь два прекрасныхъ мѣсяца. А можетъ быть, если понравится, и больше. И какое счастье, Наташа, что забота объ Алешѣ какъ-то вдругъ отошла. Отрѣшиться отъ своей ненависти ко мнѣ онъ, конечно, не могъ, такіе перевороты сразу не совершаются. Но это меня сейчасъ уже не такъ волнуетъ. Послѣ его письма, послѣ явственно-дошедшаго до меня звука его одиночества и его страданія во мнѣ какъ-то сникъ мой теоретическій паѳосъ. Зато очень обрадовался я тому, что онъ очевидно почувствовалъ, какъ хорошо Ты къ нему относишься и до чего изъ этого съ другой стороны рѣшительно ничего не слѣдуетъ. Вѣдь только на почвѣ этого двойного чувства и мыслимо въ будущемъ восстановленіе, если и не прежнихъ, то все же добрыхъ отношеній между нами тремя.

Судя по Алешинуому отвѣту (спасибо, что переслала его мнѣ, родная) на него самое сильное впечатлѣніе произвело Твое откровенное признаніе, что наше счастье отнюдь не гамакъ въ раю, какъ оно ему казалось, а мѣръ

очень сложныхъ чувствъ, въ которомъ и ему есть свое мѣсто.

Твои слова, съ очевидною любовью тщательно переписанныя Алешиною рукою, произвели на меня сегодня почему-то гораздо большее впечатлѣніе, чѣмъ въ Твоемъ письмѣ. Они дѣйствительно глубоки и прекрасны. Вполнѣ понимаю, что несмотря на ихъ суровый приговоръ самолюбивымъ Алешинымъ мечтамъ, они до нѣкоторой степени примирили его со своею судьбой и облегчили его страданье. Онъ почувствовалъ, какъ мнѣ кажется, тотъ уровень, на которомъ живетъ въ Тебѣ память о прошломъ, и въ чувствѣ этого уровня, если и не успокоился, то все-же какъ-то затихъ.

Вѣдь чувство высоты всегда чувство покоя, холода и тишины. Пройдетъ время, и онъ, думается, ощутитъ, что Твои слова не только Твои, но и наши; пойметъ, что если-бы я былъ тѣмъ человѣкомъ, которому онъ писалъ, Ты не нашла-бы тѣхъ словъ, которыя даже его, знающаго Тебя столько дѣтъ, поразили своею неожиданной скорбною глубиной.

Съ этого поворота начнется, надѣюсь, новый періодъ нашихъ отношеній. Я-же ему своимъ долбленіемъ «истинъ» надоѣдать больше не буду.

За послѣднее время что-то неуловимо, но очень существенно переставилось у меня въ душѣ. Мнѣ кажется совсѣмъ не важнымъ доказывать всѣмъ свою правду, потому что вся правда въ томъ, чтобы любить инакомыслящихъ и инакочувствующихъ. Думаю, что послѣднее письмо Алешѣ я написалъ по инерціи, подъ давленіемъ какихъ-то своихъ старыхъ Клементьевскихъ догматовъ. Если-бы это было не такъ, я никогда не примирился-бы съ его отвѣтомъ такъ скоро и такъ глубоко, какъ это произошло. Очевидно, дорогая, я давно уже не тотъ, за котораго себя все еще принимаю. Во Флоренціи и Москвѣ (во время борьбы за Тебя) я былъ очень несчастливъ, но четокъ, жестокъ и звонокъ; сейчасъ — безконечно счастливъ,

но тембръ моей души мягче, задушевиѣе глуше. Всѣ звонкія верхнія ноты страстной убѣжденности звучать для меня какой-то фальшью, дребежжать и детонируютъ; мнѣ за нихъ почти что стыдно. Все это Твое вліяніе, милая Ты моя Наталенька. Все отъ мягкости Твоего жеста, задумчивости Твоихъ грустныхъ, дѣтскихъ глазъ, отъ затишья Твоихъ плечъ въ глубокихъ креслахъ, отъ справедливости Твоего разрывающагося на части, обо всѣхъ и обо всемъ болѣющаго сердца. Знаешь, мнѣ иногда кажется, что за нашу Касатынскую жизнь я очень состарился, что совѣмъ, конечно, не удивительно. Такое древнее и мудрое чувство, какъ наша любовь, не можетъ не старить души: вѣдь любить прежде всего и значить — готовиться къ смерти. Это не грустныя мысли, Наташа; это мысли восторженныя.

Всею любовью своею обнимаю Тебя, моя радость. Каждымъ ударомъ сердца цѣлую Тебя. На душѣ — черная тоска. Но я знаю, что это только короткая, полуденная тѣнь нашей высокой любви, и я счастливъ.

Твой Николай.

Петербургъ, 5-го октября 1913 г.

Вчера, Наталенька, въ Александринкѣ на Мейерхольдовскомъ Донъ-Жуанѣ съ Юрьевымъ и Варламовымъ я совершенно неожиданно встрѣтилъ Марину. Она только что получила мою открытку съ просьбою позвонить въ гостиницу и была крайне удивлена, какъ впрочемъ и я, нашей встрѣчею. Я сидѣлъ въ партерѣ, она въ бельэтажѣ. Увидали мы другъ друга только въ послѣднемъ антрактѣ. Поговорить, конечно, ни о чемъ не успѣли. Условились только, что она послѣзавтра будетъ у меня и разстались какъ-то не совѣмъ естественно, съ какимъ то легкимъ холодкомъ, мнѣ не совѣмъ понятнымъ. На первый взглядъ она измѣнилась. Въ чемъ — сказать трудно. Та — да не та. Весь силуэтъ какой-то иной. Болѣе

изящный, но менѣе особенный: завитые волосы, очень уже холёные руки, привычка внезапно скидывать глаза... Все это мнѣ было ново и какъ-то плохо вязалось съ виленскимъ образомъ Танинаго друга. Но подъ всѣми этими новыми наслоеніями все то-же Маринино горькое затишье. Была она не одна, а съ какимъ-то молодымъ чело-вѣкомъ изъ породы вѣчныхъ студентовъ. Не сомнѣваюсь, что онъ въ нее влюбленъ; питаегь-ли и она къ нему какія нибудь чувства, — не ясно. Собою онъ очень незамѣтенъ, но если его замѣтить — почти красивъ. Сложенъ прекрасно. но мѣшковатъ и крайне не элегантенъ. Зовутъ его какъ-то очень пышно, если не ошибаюсь, Всеволодъ Валеріановичъ, а фамилія — Петровъ.

Живетъ Марина съ братомъ, который въ этомъ году перешелъ уже на третій курсъ, почему-то врозь. У нея небольшая квартира, у Сережи комната поблизости отъ нея. Кажется она очень интересуется театромъ, чего я въ ней раньше никогда не замѣчалъ, хотя въ Клементьевѣ мы съ ней и говорили объ ея «двойной душѣ.»

Я съ нетерпѣніемъ жду нашего свиданья въ пятницу, но нѣсколько боюсь за него. Въ Вильнѣ мы внутренне такъ близко увидали и ощутили другъ друга, какъ оно въ жизни не часто бываетъ. Вѣдь Ты знаешь, родная, одна только и знаешь, что значить для меня ночь, которую мы провели съ Мариной въ ея флигелѣ послѣ похоронъ Тани и Коли. Но затѣмъ... нашею странною встрѣчею въ Клементьевѣ, еще болѣе страннымъ письмомъ мнѣ на Кавказъ, незначительностью и скупостью нашей послѣдующей переписки, всѣмъ этимъ память о Вильнѣ на мое ощущеніе какъ-то затуманилась и исказилась. Въ чемъ дѣло, — мнѣ сказать трудно, но все-же я не думаю, Наталенька, чтобы Марина уже въ Клементьево пріѣзжала съ корыстною мечтою о мнѣ. Какъ я ни вѣрю Твоей интуиціи въ дѣлахъ любви, мнѣ все-же кажется, что по отношенію къ Маринѣ Ты не права. И какъ ни плѣнительна для меня Твоя ревность,

(ревнуя Ты всегда хорошѣешь), я все-же считаю своимъ долгомъ передъ Мариной не поладаться въ ся (т. е. ревности) сѣти.

Очень мнѣ интересно, кто изъ насъ въ концѣ концовъ окажется правымъ. Если-бы правда осталась за Тобою, это было-бы чудомъ. Вѣдь Ты никогда не видала Марины.

Прости, дорогая, что я сегодня отсылаю Тебѣ такое коротенькое письмо. Но завтра первый экзаменъ, и мнѣ надо еще кое-что просмотрѣть. Иду спать съ мечтою, что завтра получу отъ Тебя вѣсточку, если не письмо, то хотя-бы телеграмму. Если пойду въ университетъ въ радостномъ ощущеніи, что у Васъ дѣла все улучшаются и что часъ нашего свиданія близится, буду навѣрное не только экзаменоваться, но и экзаменовать своихъ экзаменаторовъ. До скорого свиданья, родная.

Послѣ завтра снова пишу.

Твой Николай.

Петербургъ, 7-го октября 1913 г.

Какой Ты милый человекъ, Наталелъка. Какъ мнѣ хотѣлось, такъ оно и вышло. вмѣстѣ съ утреннимъ кофе лакей принесъ прислоненный къ сахарницѣ конвертъ, надписанный Твоею рукой. Съ безконечною радостью прочелъ я такія Твои строки. Спасибо за нѣжную заботу объ отцѣ. Спасибо за пожеланія къ экзамену. Онъ прошелъ къ обоюдному удовольствію моихъ экзаменаторовъ и меня очень содержательно и оживленно. Слѣдующій, по логикѣ, я буду ждать съ гораздо большимъ интересомъ. Назначенъ онъ на десятое.

Ты просишь, родная, подробно описать Тебѣ нашу встрѣчу съ Мариной. Еще до Твоей просьбы я въ послѣднемъ письмѣ, которое Ты вѣроятно вчера уже получила, рассказалъ Тебѣ, какъ мы случайно увидѣлись въ театрѣ. Вчера наше свиданіе было существеннымъ и длительнымъ.

Постараюсь изобразить Тебѣ его со всею тщательностью, на которую только способенъ.

Марина пришла ко мнѣ около пяти. День былъ пасмурный и печальный, и у меня уже горѣло электричество. На ней былъ черный костюмъ, на головѣ незамѣтная черная шляпа съ талантливо положеннымъ крыломъ. Въ рукахъ модный зонтикъ, сѣрая замшевыя перчатки и книга (небольшой томикъ). Мы оба были взволнованы. Подойдя къ ней, я поцѣловалъ ей руку. Она вручила мнѣ драмы Чехова, перчатки и зонтикъ. Я расѣянно двинулся почему-то съ вещами къ письменному столу, она къ зеркалу, чтобы снять шляпу. Затѣмъ, не отнимая очень блѣдныхъ рукъ отъ причесанныхъ на прямой проборъ волосъ, она медленно подошла ко мнѣ, задумчиво обвела печальными глазами комнату, чему-то чуть улыбнулась и устало опустила въ низкое кресло, *спиной къ стѣнѣ*. Вотъ Наталенька, изъ уваженія къ Твоему глубокому и глубоко женскому убѣжденію, что самое тайное гибѣдитъ всегда въ самомъ виѣшнемъ, со скверною современно-реалистическою тщательностью написанный сценарій не къ первому дѣйствию... драмы или комедіи, а всего только къ тому нѣсколько странному діалогу, съ котораго начался нашъ вчерашній вечеръ.

— «Долго не видались, Марина!»

— «Дольше, чѣмъ Вы думаете».

— «Зачѣмъ-же думать, когда такъ просто рассчитать».

— «Просто ничего нельзя».

— «То-есть?»

— «Въ Клементьевѣ мы съ Вами не видались: — Вы были не съ Таней, а я была не съ Вами».

— «А съ кѣмъ-же Вы были?»

— «Какъ всегда, со своимъ одиночествомъ».

Она пристально, но расѣянно посмотрѣла на меня, откинула голову назадъ, закрыла глаза и стала вдругъ странно похожей на прежнюю Марину.

— «Вы кажется мою вторую женитьбу считаете предательствомъ Таниной памяти, Марина, и не прощаете мнѣ ея?»

— «Я уже въ Клементьевѣ говорила Вамъ, Николай, что не мнѣ судить Вашу жизнь; если-же хотите знать, какъ чувствую, то не любви Вашей я не принимаю, а ея спокойнаго счастья».

Послѣднія слова меня остро задѣли, Наташа, почему, — я еще не совсѣмъ понимаю. Твой взглядъ на Маринино ко мнѣ отношеніе внезапно сверкнулъ надъ душой какою-то возможною правдой, и я съ нѣкоторою мужскою жестокостью, въ которой сейчасъ глубоко раскаиваюсь, не безъ нѣкоторой враждебности, спросилъ Марину, не думаетъ-ли она, что своимъ непріятіемъ моего спокойнаго счастья она защищаетъ не только Таню?

Къ моему величайшему удивленію она совсѣмъ не удивилась и не обидѣлась. Она ласково посмотрѣла мнѣ въ глаза, чуть иронически чуть улыбулась въ себя и не безъ удовольствія высказала поразившую меня мысль, что она этого такъ-же не думаетъ, какъ и я, но знаетъ, что такъ думаешь Ты.

Послѣ этихъ словъ она, однако, вдругъ поблѣднѣла, затонула и словно куда-то пропала...

Потомъ уже совсѣмъ другимъ, веселымъ и задорнымъ, тономъ прибавила: «все это ненужная и, пожалуй, даже безвкусная откровенность, Николай Федоровичъ. Я же сейчасъ стремлюсь даже отъ самой себя скрыться въ искусствѣ. Вы вѣдь знаете, что я собираюсь на сцену».

Она вскинула на меня глаза, но ихъ взоръ какъ-то не полетѣлъ, — а безкрылою печалью тутъ-же опустился на землю. Почувствовавъ, что тояъ ея искусственной фразы произвелъ на меня непріятное впечатлѣніе, Марина встала, прошла по комнатѣ и, подойдя ко мнѣ, смущенно протянула руку: «не сердитесь, я только хотѣла переменить разговоръ; я очель устала отъ пустоты своей глубины», въ которую меня все время тянетъ...».

Послѣ этого страннаго признанія, Марина очень оживленно стала рассказывать о своихъ «фантастическихъ» планахъ. Оживленіе у нея, къ слову сказать, очень особенное:—искреннее и все же совѣмъ не живое; когда она иной разъ почти покойницею молчитъ съ закрытыми глазами, въ ней чувствуется совѣмъ иного напряженія жизнь.

Артистка она скорѣе всего никакая. Въ моемъ представленіи, во всякомъ случаѣ, ея образъ со всей атмосферой современнаго театра никакъ не вяжется. Не думаю, чтобы она когда нибудь попала на сцену; увѣренъ, что если-бы это и случилось, она очень быстро, ничего не достигнувъ и во многомъ разочаровавшись, сошла-бы съ нея. Совѣмъ она внутренне не отсюда идетъ, гдѣ таятся истоки современной театральности.

Несмотря на это а можетъ быть какъ разъ благодаря этому, мотивы ея тяготѣнія къ сценѣ очень и интересны и, частично, во всякомъ случаѣ, очень близки моимъ взглядамъ, если и не те театр, который я всегда любилъ, но гадъ которымъ мало думалъ, то на то трагическое представленіе, которое именуется жизнью. Многое изъ того, что я слышалъ отъ нея живо напомнило мнѣ по своему настроенію и даже по нѣкоторымъ оборотамъ мысли то большое письмо, въ которомъ я писалъ Тебѣ изъ Клементьева (я знаю, что Ты его не забыла) о раздвоенности мужской души и раздвоеніи любви... Въ значительной степени Маринина философія сцены есть только вариантъ моей философіи любви. Увѣренъ, что это не только случайное совпаденіе, но и прямое вліяніе. Она пріѣхала въ Сельцы черезъ нѣсколько дней послѣ того, какъ я отправилъ Тебѣ мое послѣдніе. Я писалъ его напряженно и въ очень большемъ волненіи. Образы и формулировки моего письма меня не удовлетворили, и мысли съ его отсылкой во мнѣ потому не успокоились, скорѣе наоборотъ, быстрѣе завертѣлись навстрѣчу тому разрешенію вопроса, которое, кажется, теперь оконча-

тельно найдено въ пятой главѣ моей «философіи жизни».

Будь добра, милая, посмотри мое письмо о Марининомъ прїѣздѣ въ лагерь. Мнѣ кажется, что есть тамъ упоминаніе о нашихъ разговорахъ на эти темы. Мнѣ это очень важно. Вѣдь если-бы Марина прїѣзжала тогда, какъ Ты увѣрена, «за мной», то она и несмотря на то, что встрѣтила въ моей душѣ Тебя, могла-бы обрѣсти въ моей теоріи любви и мѣсто для себя.

Будь это такъ, мнѣ можетъ быть многое объяснилось бы во вчерашнемъ Марининомъ настроеніи.

Проговорили мы съ ней до поздняго вечера. Ужинали у меня-же въ гостинницѣ.

Долженъ сказать, что она все-же очень интересный человѣкъ, и въ глубинѣ души совсѣмъ конечно та-же, какой я зналъ ее и раньше. Несмотря на теперешнее оживленіе, въ ней остро чувствуется та «попынь на душѣ», о которой она говорила еще въ Вильнѣ. Все ся обостренное чув тво жизни, по прежнему — чувство смерти. Разница только въ томъ, что это чувство смерти въ ней еще углубилось и осложнилось. Въ Вильнѣ она себя совсѣмъ не чувствовала, была вся подъ впечатлѣніемъ гибели матери, братьевъ, Тани. Жила переложеннымъ въ прозу и потому безконечно жуткимъ ощущеніемъ того, что «всѣ мы сойдемъ подъ вѣчныя своды и чей нибудь ужъ близокъ часъ». Сейчасъ къ этому ощущенію ожидающей всѣхъ насъ смерти, въ ней прибавилось что-то новое:—думается, ощущеніе того, сколько возмозможностей отравлено и умучено въ ней тѣми страшными потрясеніями, подъ гнетомъ которыхъ прошла ее молодость. Сейчасъ она чувствуетъ въ себѣ смерть, смерть не какъ прошлое и будущее, а какъ настоящее. Живеть не только тѣмъ, что всѣ вокругъ умерли, и что ушедшіе зовутъ ее къ себѣ, но въ гораздо большей степени чувствомъ, что сама она мертва, что въ ней безсилны си-

лы жизни, что ей никогда уже болѣе не осилить своего счастья.

Но конечно не вся она въ этомъ. Иной разъ чувствуется, какъ въ ней своею жизнью живутъ и по временамъ вспыхиваютъ и громадный интересъ къ жизни, и глубоко встревоженный умъ, и наслѣдственная, темная страстность, и радость и даръ бесѣды. Увѣренъ, если бы въ ней не было чувства обреченности своей жизни и стыда за то, что она все-таки живетъ, она была бы очень веселымъ и увлекательнымъ существомъ. Но стыдъ мучаетъ, жизнь жизни убита. Временами, какъ на примѣръ вчера, Марина можетъ плѣнительно оживать, но жить жизнью она уже больше не можетъ. Отсюда и вся ея на первый взглядъ странная и малопонятная тяга къ сценѣ. Въ отвѣтъ на вопросъ, какъ ей пришла мысль стать артисткой, она не безъ смущенья отвѣтила, что даже души утопленниковъ всплываютъ иной разъ со дна, чтобы порѣзвиться до полуночи на бережку... Миѣ кажется, вся ея мечта о сценѣ, ничто иное какъ исканіе такого «бережка», — той вѣ-жизненной территоріи, на которой ея, въ сущности мертвые душевные энергіи могли-бы временами оживать въ условномъ, призрачномъ, на грани искусства и жизни колеблющемся мірѣ сцены. Все это у Марины точно не продумано и не сформулировано, но интересно очень. Тутъ безусловно заложены глубочайшія предпосылки совершенно своеобразной метафизики театра. Несчастье Марины только въ томъ, что метафизическія предпосылки подлинной театральности совсѣмъ не совпадаютъ съ психологическими предпосылками современнаго театра, который въ сферѣ искусства представляетъ собою совершенно такое-же измѣреніе вульгарности, какъ современная политика въ сферѣ общественной этики.

* Не знаю, Наталенька, нравъ ли я педагогически по отношенію къ Маринѣ, которая очень волнуется сейчасъ на какомъ-то распутьѣ, но я упорно убѣждалъ ее, что та наджизненная игра въ жизнь, къ которой тянется

ея душа, гораздо легче осуществима въ жизни, чѣмъ на сценѣ. Сцене ей ничего не дать, если она не отдастъ ей всей своей жизни. Но жизни своей она отдать не можетъ — ея жизнь отдана смерти. Ей ничего не остается потому, какъ не живя, а умирая, играть въ несуществующую жизнь. Что такая жизнь тоже сцена — ясно.

Боюсь, что во всѣхъ этихъ разговорахъ я больше интересовался проблемой отношенія жизни и сцены, чѣмъ Мариной судьбой. Очень винить себя за это мнѣ трудно. Въ день Мариного прихода я съ утра всталъ съ тѣмъ чувствомъ легкости въ душѣ и тѣлѣ (я только наканунѣ сдалъ экзаменъ, къ которому много готовился), которое ни въ чемъ не чувствуетъ вѣса и все превращаетъ въ игру. Грустное настроеніе, въ которомъ Марина пришла, и ея неожиданная искренность, отяжелили было сначала мое самочувствіе, но къ вечеру оно въ полной мѣрѣ вернулось ко мнѣ и внизу за ужиномъ я пріятно ощущалъ остроту и крылатость нашей бесѣды. Что въ этомъ моемъ настроеніи, кромѣ грѣха незаинтересованности Мариной судьбой, было, на Твой слухъ, еще и грѣхъ недостаточно осторожнаго обращенія съ предполагаемымъ Тобою Маринымъ чувствомъ ко мнѣ, я охотно признаю, Наталенька. Но я вѣдь въ Твои предположенія, въ концѣ концовъ, все-же не вѣрю, милая. Наша подлинная связь съ Мариной такъ глубока, и память о нашемъ прошломъ въ обоихъ насъ такъ велика и печальна, что, я увѣренъ, всякій «романъ» со мной Марина, ощутила-бы въ себѣ, какъ величайшее предательство и кощунство.

Мы можемъ временами высоко и даже весело взлетать надъ нашимъ прошлымъ, но отъ печали его намъ никогда не избавиться. Все это, Наталенька, только для Тебя. Вѣдь знаю и, бѣдная Ты моя, что Твое мудрое сердце почему-то не мудро боится Марины, и что одно произнесеніе ея имени уже окрыляетъ Твою, всегда впрочемъ готовую къ полету ревность. У меня на сердцѣ только одна мечта, чтобы Ты какъ можно скорѣе увидѣ-

лась съ Мариной. Увѣренъ, что увидѣвъ ее, Ты сразу же поймешь насколько мое «ослѣпленіе» прозорливѣ Твоей дальновзоркости.

Витающая между Вами глухая враждебность мучаетъ меня больше, чѣмъ непримиренность съ Алешей, и я съ послѣднимъ нетерпѣніемъ жду того часа, который сотретъ это темное пятно съ лица нашей жизни.

Въ заключеніе большая къ Тебѣ просьба, Наташа. Читая это письмо, помни, что встрѣчу съ Мариной я описала Тебѣ такъ, какъ она вѣроятно представилась-бы Твоимъ настроженнымъ взорамъ, если-бы Ты подъ шапкой невидимкой присутствовала при ней. Но мнѣ же все было гораздо проще, и наша бесѣда съ Мариной вовсе не имѣла въ себѣ того опаснаго «подводнаго рельефа», который, я знаю, скорбно взволнуетъ Тебя въ моемъ письмѣ. Мы безнадежно запутались-бы съ Тобою, родная, если бы не узнавъ *своихъ* глазъ въ моемъ описаніи, Ты приняла-бы всѣ его сознательныя преувеличенія за тѣ, всегда недостаточныя намекы, дальше которыхъ я, по твоему, никогда не иду въ своихъ разсказахъ о моемъ пребываніи въ интересномъ женскомъ обществѣ. Противъ возможности всякихъ недоразумѣній средство только одно — Твой скорый пріѣздъ.

Ты вѣдь знаешь, какъ я Тебѣ благодаренъ за заботы объ отцѣ, но право Ты уже слишкомъ требовательна къ себѣ. Воспаленіе было не тяжелое, осложненій никакихъ не замѣчается, думаю, по самой большой своей совѣсти Ты уже можешь довѣрить отца сестрѣ. Она вѣдь очень опытная и прекрасный человекъ, Ты сама это мнѣ говорила. Съ тѣмъ, что Скопинъ уговариваетъ не торопиться съ отъѣздомъ, считается серьезно нельзя. И какъ врачъ, и какъ другъ отца, и какъ старый холостякъ, онъ совсѣмъ не заинтересованъ въ Твоемъ быстромъ отъѣздѣ. Вылѣчить пациента и друга ему очень важно, а Твой отъѣздъ ко мнѣ для него прихоть, лишенная всякой уважительной причины. Онъ и ради

отцовскаго насморка настаивалъ бы на томъ, чтобы Ты не уѣзжала изъ Касатыни. Всѣ-же хозяйственныя соображенія, которыми задерживаетъ Твой отъѣздъ самъ пациентъ, совсѣмъ уже не идущіе въ счетъ пустяки. Я вполне понимаю, что отцу пріятнѣе совѣтоваться съ Тобою, чѣмъ съ приказчикомъ, и вполне себѣ представляю, какъ его успокаиваетъ сознаніе, что надъ его хозяйствомъ стоитъ Твое «недреманное око», но все же я думаю, милая, что все это вопросы, которые могутъ Тебя не волновать.

Очень надѣюсь, что самое позднее черезъ недѣлю Ты выѣдешь изъ Касатыни. А потому до скораго свиданья, моя радость.

Обнимаю и цѣлую Тебя.

Весь Твой Николай.

Ф. Степунъ